

Р о с с и й с к а я
национальная премия

«Поэт»

ШЕОШ
ПЭТМ

*Общество поощрения
русской поэзии*

Российское открытое
акционерное общество
энергетики и электрификации
«ЕЭС России»



РАО "ЕЭС России"



Общество
поощрения
русской поэзии

Олег Чухонцев

В честь
присуждения
Российской
национальной
премии
«Поэт»

2 0 0 7

ПОЭТ

Российская национальная премия «Поэт» учреждена Обществом поощрения русской поэзии при поддержке РАО «ЕЭС России» в апреле 2005 как награда за наивысшие достижения в современной русской поэзии.

Согласно статусу премии, ею могут быть награждены только ныне живущие поэты, пишущие на русском языке, безотносительно к их национальности и месту проживания. Премия может быть присуждена одному лицу только один раз. Разделение премии между двумя или более лауреатами и присуждение премии посмертно не предусматривается.

Право номинации (выдвижения на соискание премии) принадлежит только членам Попечительского совета Общества поощрения русской поэзии, созданного по инициативе группы литературных критиков и литературоведов при поддержке РАО «ЕЭС России».

Имя лауреата определяется тайным голосованием жюри, состоящего из членов Попечительского совета, либо формируемого по его решению.

Лауреату премии «Поэт» вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение, сумма которого эквивалентна 50 000 долларов США.

Помимо присуждения Российской национальной премии «Поэт» Общество поощрения русской поэзии намерено развернуть широкую деятельность по привлечению общественного внимания к современной поэзии, поощрению творчества молодых, ярко заявивших о себе поэтов, а также исследований в области классической и современной русской литературы.



поэма

Олег Чухонцев

из лирики

поэма

* * *

Слова все сказаны споры разрешены
а после того как сказаны все слова
окаменелость какая-то чувство вины
или бесчувствие не поймешь уже как трава
как песок под лопатой и не поймешь по ком
глуховатые как судьба эти комья глины
отдающие в позвоночнике а потом
только редкие облака только куст крушины
все что искрою Божьей было пока она
у небес разверстых разом лишилась плоти
и мелка ль глубока ли смертная глубина
ей уже все равно в астральном ее полете

КАТ В САПОГАХ

По Малой Никитской в отечных снегах
мурлыча расхаживал кат в сапогах.

Пенсне на носу и на пальце рубин,
и двое в папах как тени за ним.

От черных застолий краснели белки,
он шел и катал за щечкой желваки.

Он шел, а в решетях шумела весна,
и песню жевал: — На-ни-на, на-ни-на

И улица пахла как свежий чанак,
и каждая ветка чирикала: — вах!

И каждая шубка на рыбьем меху
шуршала в ушах, отдаваясь в паху.

Ай, рыжая челка! Духами «Манон»
пахнёт комсомолка — и вроде влюблен.

Актёрки, танцорки, строптивый народ,
хотите — на выход, хотите — в расход.

Как зябко, однако, в безлюдной Москве!
Но горный мотивчик журчит в голове.

Какая эпоха! Какая страна!
И сердце поет: — На-ни-на, на-ни-на...

* * *

...А в той земле, где Рыбинское море
теперь шумит, где белый теплоход
кричит в тумане, чувствуя в моторе
живую боль, и сбрасывает ход,
как бы поклон последний отдавая,
и вторят криком встречные суда
да чайки, и волна береговая
в глухую память плещется, когда
решили землю сделать дном и Волгу
пустили в эти поймы и луга
на дольний мир, крестьянскую двуколку
колхозом тянущий, и облака
из мутных вод, как саван погребальный,
всплыть не могли, и только монастырь
еще стоял, как в день первоначальный
холодную высвечивая ширь
и поднимая купола и стены,
расписанные фресками внутри,
но и они, темнея постепенно,
туда бы перешли, где пескари
уже ходили, чудищ пучеглазых
напоминая, если бы не те
художники, из бывших богомазов,
которые, на козлах и в воде
по щиколотку стоя, по колено,
работали не покладая рук,
и сняли роспись, и спасли от тлена,
и умерли — так вот, какой-то звук
о той земле, какой-то призыв резкий
как бы пилой по камню, все стоит,
стоит в ушах...

Я видел эти фрески
в Донском монастыре. Тяжелых плит,
как бездны, распечатанные книги:
Ной у ковчега с парами зверей

и белым голубем — я слышу крики,
и рев, и плеск, и рокот кораблей
уже других, шелка и багряницы
везущих в трюмах, вина и виссон,
вот Вавилон, великая блудница,
сидящая на водах и верхом
на звере семиглавом и багряном,
жена с блестящей чашею в руке,
паскудством переполненной и срамом,
я вижу обмеревших вдалеке
купцов, и корабельщиков, и кормчих
перед той, великолепной и нагой,
вмиг рухнувшей и околешней в корчах,
вот аггел в горностае с кочергой,
пытающий свидетелей Христовых,
и сонмы их, polegших как снопы,
в одеждах белых, и на всех просторах,
на всех морях — громовый Глас трубы:
се — Первенец из мертвых и Владыка
царей земных на облаке грядет
с небесным воинством Своим, и дико
трепещет в злобе сатанинский сброд;
и — белый конь, и на коне Сидящий
в одежде окровавленной, и меч
из уст его исходит злоразящий,
то Слово Божье, огненная речь
возмездия! — но столько страсти грешной
в виденьях кисти, страсти и стыда,
что это уж не Страшный суд, конечно,
не суд, а Праздник Страшного суда.

Не убоимся же десницы гнева
Господнего, а возблагодарим
Дарующего урожай посева —
веселье праведным и гибель злым!

И вижу я на утреннике тусклом,
как вскрылись реки и очнулся лед,
крошась на льдины, и пошел по руслу
широкий шорох, как вселенский сход,
и схлынул за два дня, и две недели
снега сгоняло с обморочных нив,
а в третью, за ручьями вслед, запели
и птицы, и когда двойной разлив
все затопил — о, что с тобою стало,
вдруг вырвалось само, земля моя,
ты столько лучших в бездны покидала
и вот застыла, словно бы ничья,
у паводковых вод, где кружит голубь
над островком невестящихся верб
и дебаркадером, где серп и молот,
перекрестившись, сочетались в герб.

Плывите, корабли, путями века,
венозной синью сухопутных карт
над лесом строевым, где Ян Сапега
поляков положил, где Волго-Балт
провел на Север шлюзы и заводы,
систему мариинских лагерей,
где плещут воды, многие народы,
плывите же дорогою своей
с победным маршем, поднимайте якорь
над жизнью той, что под воду ушла,
над косточками русскими, где пахарь
почил на дне, и пусть колокола —
подводные — звонят, пусть бьются била
у побережий новых атлантид,
над Китежем, вздымающим стропила,
где хриплый петушок еще кричит...

Что сделано, то сделано, но в силе
все кровное останется и впредь.
Мы заплатили больше, чем просили.
Зачем же плакать, если можно петь?
Пой, Муза, пой, пустые бросим споры,
унынье от лукавого — и пусть
проходят за кормою Переборы
и Пошехонь отвеивает грусть.
А где язык запнется у поэта,
при свете дня или ночной звезды
пусть встанет как восьмое чудо света,
белеясь, колокольня из воды...

ПОСЛЕВОЕННАЯ БАЛЛАДА

— Привезли листовое железо.
— Кто привез? — Да какой-то мужик.
— Кто такой? — А спроси живореза.
— Сколько хочет? — Да бабу на штык.
— И хорош? — Хром на оба протеза.
А язык пулемет. Фронтовик.
— Да пошел!..

— Привезли рубероид.
Изразцы привезли и горбыль.
— А не много? — Да щели прикроет.
Ты вдова, говорит, я бобыль.
А глазами так и буровит.
— Ну-ка, дьявол, держись за костыль,
а не то...

— Привезли черепицу.
— Убирайся! — Задаром отдам.
Разреши, говорит, притулиться
инвалиду ко вдовым ногам.
Я не евнух, и ты не девица,
ан поладим с грехом пополам.

Дом стоит. Черепица на крыше.
В доме печь: изразец к изразцу.
Кот на ходиках: слушайте, мыши.
Сел малыш на колени к отцу.
А дымок над трубою все выше,
выше, выше — и сказка к концу.

Ах, не ты ли — какими судьбами —
счастье русское? Как бы не так!
Сапоги оторвало с ногами.
Одиночество свищет в кулак.
И тоска моя рыщет ночами,
как собака, и воет во мрак.

* * *

Что ми шумить что ми звенить давеча рано пред зорями.
«Слово о полку Игореве»

Зычный гудок, ветер в лицо, грохот колес нарастающий.
Вот и погас красный фонарь — юность, курящий вагон.
Вот и опять вздох тишины веет над ранью светающей,
и на пути с черных ветвей сыплется гомон ворон.

Родина! Свет тусклых полей, омут речной да излучина,
ржавчина крыш, дрожь проводов, рокот быков под мостом, —
кажется, все, что улеглось, талой водой взбаламучено,
всплыло со дна и понеслось, чтоб отстояться потом.

Это весна все подняла, все потопила и вздыбила —
бестолочь дней, мелочь надежд — и показала тщету.
Что ж я стою, оторопев? Или нет лучшего выбора,
чем этот край, где от лугов илом несет за версту?

Гром ли гремит? Гроб ли несут? Грай ли висит над просторами?
Что ворожит над головой неугомонный галдеж?
Что мне шумит, что мне звенит издали рано пред зорями?
За семь веков не оглядеть! Как же за жизнь разберешь?

Но и в тщете благодарю, жизнь, за надежду угрюмую,
за неуспех и за пример зла не держать за душой.
Поезд ли жду или гляжу с насыпи — я уже думаю,
что и меня кто-нибудь ждет, где-то и я не чужой.

ДЕЛЬВИГ

Из трубки я выдул сгоревший табак,
Вздыхнул и на брови надвинул колпак.
А. Дельвиг

В табачном дыму, в полуночной тоске
сидит он с погасшею трубкой в руке.

Смиранный пропойца, набитый байбак,
сидит, выдувая сгоревший табак.

Прекрасное время — ни дел, ни забот,
петух, слава Богу, еще не клюет.

Друзья? Им пока не пришел еще срок —
трястись по ухабам казенных дорог.

Любовь? Ей пока не гремел бубенец,
с поминок супруга — опять под венец.

Век минет, и даром его не труди,
ведь страшно подумать, что ждет впереди.

И честь вымирает, как парусный флот,
и рыба в каналах вверх брюхом гниет.

Жизнь канет, и даром себя не морочь.
А ночь повторяется — каждую ночь!

Прекрасное время! Питух и байбак,
я тоже надвину дурацкий колпак,

подсяду с набитою трубкой к окну
и сам не замечу, как тихо вздохну.

Творец, ты бессмертный огонь сотворил:
он выкурил трубку, а я закурил.

За что же над нами два века подряд
в ночах обреченные звезды горят?

Зачем же над нами до самой зари
в ночах обреченно горят фонари?

Сидит мой двойник в полуночной тоске.
Холодная трубка в холодной руке.

И рад бы стараться — да нечем помочь,
уж больно долга петербургская ночь.

ЧААДАЕВ НА БАСМАННОЙ

Как червь, разрезанный на части,
ползет — один — по всем углам,
так я под лемехами власти
влачусь, разъятый пополам.

В парах ли винного подвала,
в кругах ли просвещенных дам
влачусь — где наша не бывала!
А между тем — ни тут, ни там.

Да я и сам не знаю, где я,
как будто вправду жизнь моя
загадка Януса — идея
раздвоенности бытия.

Когда бы знать, зачем свободой
я так невольно дорожу,
тогда как самому — ни йотой —
себе же не принадлежу.

Зачем в заносчивом смиренье
я мерюсь будущей судьбой,
тогда как сам я — в раздвоенье —
и не бывал самим собой.

Да что я, не в своем рассудке?
Гляжу в упор — и злость берет:
ползет, как фарш из мясорубки,
по тесной улице народ.

Влачит свое долготерпенье
к иным каким-то временам.
А в лицах столько озлобленья,
что лучше не встречаться нам.

* * *

По гиблому насту, по талой звезде
найдешь меня там, где не будет нигде.

Есть дальняя пристань, последний приют,
где скорби не знают и мертвых не чтут.

Кто был для единого слова рожден,
пусть ветром и пеплом развеян, но он

как кочет туда безголовый взлетел,
а это, скажу вам, не худший удел.

* * *

Южной ночью, один на пустом перроне,
я поезд последний жду, а его все нет,
и светляки над путями свадебным роем
вспыхивают и гаснут. Тьмы светляков.

Вспыхивают и гаснут. Запахи роз и хлорки,
свары какой-то хронической рядом, но мрак
фосфоресцирует, брызжет, и прах летучий,
кажется, самый воздух готов поджечь.

И когда прожектор, вынырнув из потемок,
побежал по путям и заскрежетал состав
с погашенными огнями, с побитыми окнами,
эти кавказские счеты, черт их поймет;

и когда, покидав чемоданы, я чудом впрыгнул
в дернувшийся вагон и взглянул назад,
все, что теменью было: пальмы, вокзал и море, —
все горело, брачным пульсировало огнем.

Что же все это: родина-мачеха — дом на сваях —
мамалыга с сыром — падающий зиккурат
с изваянием идола — дальше — гремящий хаос —
дальше! дальше! — пороховые зарницы в окне?..

Кто уехал, тот и останется — знает каждый,
кто лечил ностальгией растраву душевных ран.
Я не из этой страны, а из этого века,
как сказал мне в Париже старый зек Сеземан.

Мне теперь не светят ни светляки, ни звезды,
ничего мне не светит, в подушку тщета стучит.
А под утро вижу искрящий желаньем воздух
еще не стреляют и муза моя не молчит

* * *

Без хозяина сад заглох,
кутал розу — стоит крапива,
в вику выродился горох,
и гуляет чертополох
там, где вишня росла и слива.

А за свалкою у леска
из возгонок перегорелых
наркоты и змеевика
граммофончик звенит вьюнка
в inferнальных уже пределах.

Страшно мал, но велик зело,
ибо в царстве теней пригрелся,
пожирающий знак зеро.
Вот и думай, мутант прогресса,
что же будет после всего,
после сныти, болота, леса...

После лирики. После эпоса...

* * *

Под тутовым деревом в горном саду,
в каком-то семействе, в каком-то году,

с кувшином вина посреди простыни,
с подручной закуской — лишь ветку тряхни,

с мыслишкой, подкинутой нам тамадой,
что будем мы рядом и там, за грядой,

Амо и Арсений, Хухути и я,
и это не пир, а скорей лития.

Как странно, однако, из давности лет
увидеть: мы живы, а нас уже нет.

Мы рядом, мы живы, и я под тутой
еще и не старый, еще молодой.

Закатная мгла освежила траву.
Цикада окликнула Саят-Нову.

Из давности, из наваждения лет
кузнечик откликнулся ей вардапет.

Вот! роды прейдут, и державы сгорят,
и сад промысловый пожрет шелкопряд,

и речь пересохнет, но из году в год
цикада семнадцатилетняя ткет,

а рядом сверчок, безъязыкий толмач,
смычком высекает свой варварский плач.

Деместикус, дектикус, коноцефал,
да кто бы им имя какое ни дал,

личины меняя, он тот же, что был,
Амо и Арсений под сению крыл,

словесная моль, дегустатор октав,
скажи: каннибал — и не будешь не прав.

Напарники литературных декад,
здесь самое место нам, в цехе цикад.

А что же в остатке? сухая картечь,
лишь воздухом запечатленная речь...

Я вижу, как мы под тутою лежим,
как живо темнеет, как сякнет кувшин,

но миг или век — все равно дефицит,
как жизнь промелькнула, и смерть пролетит.

* * *

Вот Иона-пророк, заключенный во чрево кита,
там увериться мог, что не все темнота-теснота.

В сердце моря, в худой субмарине, где терпел он, как зэк,
был с ним Тот, Кто и ветер воздвиг, и на сушу изверг.

И когда изнеможил, когда в скорби отчаялся он,
к Богу Сил возопил он и был по молитве спасен.

По молитве дается строптивость ума обороть:
Встань, иди в Ниневию и делай, что скажет Господь.

Ах, и я был строптивым, а теперь онемел и оглох,
и куда мне идти, я не знаю, и безмолвствует Бог.

Не пророк и не стоик я, не экзистенциалист,
на ветру трансцендентном бренчу я, как выжженный лист,

ибо трачен и обременен расточительством лет,
я властей опасуюсь, я микроба боюсь и газет,

где сливные бачки и подбитые в гурт думаки,
отличить не могущие левой от правой руки,

как фекальи обстали и скверною сусят уста.
Врешь, твержу про себя я, не все темнота-теснота...

.....

Вырывающаяся из рук, жилы рвущая снасть
кой-то век не дает кораблю в порт приписки попастьь.

На кого и пенять косолапым волкам, как не на
пассажира уснувшего, под которым трещит глубина.

Растолкать? Бросить за борт? Покаяться? Буря крепка,
берег тверд, и за кормчим невидимая рука.

Не пугайся, Иона, у нас впереди еще Спас,
еще встанет растеньице за ночь и скукожится враз.

Так что плыть нам и плыть, дни и луны мотая на ось,
на еврейский кадиш уповать и на русский авось.

* * *

Эти тюркские пристани-имена Агидель, Изикюль, Дюртюли, рядом бывшее ваше имение где-то за угорами, под Сарапулом, разве можно забыть? Агидель, Дюртюли, раза три про себя повтори, Изикюль — и бюль-бюль запоет, засвистит, душу всю исцарапает.

И само наше странствие на теплоходе по Каме, Белой, по Чусовой, то ли позднее свадебное путешествие, то ли прощание с этим раем поверженным, над которым недавно парил часовой, а теперь только обморок территории, словно взяли вместе с вещами ее

и со всем наличным составом, включая плечи вырубков и персонал, да желонки как маятники на холмах нефтяные, а ниже — мережи и топляки в песке, да на курьих ножках стожки, а потом — провал: то ли Чертово Городище с Елабугой, то ли Челны Бережные.

Где-то здесь Цветаева задохнулась и письма слал Пастернак с просьбой отправить его на фронт, и дроздами не мог не заслушаться, всю-то рябину ему исклевали, поди, не знаю, так ли, не так, дело не выгорело, слава Богу, ибо пуля, она не жужелица.

А закат, что закат? и в проточной воде он как кровь багров, а виденья безлюдности и потом едят поедом они, как в зеленых плавнях, к примеру, сомы сосали коров, запрудивших вечернюю реку выменами недойными.

А до Флора и Лавра всего-то рукой подать, и уже ко вторым осенинам сбиваются в стаи ласточки, то-то кружат они кругами, и в воздушном их чертеже больше навыка, чем азарта, с которым гоняют в салочки.

Вот и мы, ты и я, мы не знаем по счастью своих путей, но посудина наша двухпалубная твердо держится расписания, зная в точности, как на смену Рыбам движется Водолей, так и сроки нашего пребывания здесь конечного расставания.

* * *

И не то чтобы тайна сия велика или светит мне путь роковой, только я истекаю тщетой как река из последних своих рукавов.

Зря в царицынских плавнях речной корабел вахтенный будет шарить журнал. Ты прими меня, море, в свою колыбель, где и буй ни один не живал.

Вниз и вниз, мимо всех браконьерских сетей и застав, я кончаюсь туда, где осетр тяжелеет в себе сам-третей и как кровь солонее вода.

* * *

— Кыё! Кыё!

По колена стоя в воде, не выпуская тачки, он мочится в реку.
Возле моста, напротив трубы, извергающей пену
и мыльную воду бань, напротив заброшенного погоста
и еще не взорванной церкви на том берегу
он стоит в воде и мочится в реку,
не понимая как будто и сам, как сюда забрел,
а по лицу блуждает улыбка то ли блаженства,
то ли безумия; кончив нужду, он там и стоит,
где скот обычно вброд переходит реку,
стоит, не оправляя штанов, уставясь в поток,
онучи набрякли паводковой водою,
и он не знает, что делать дальше, так и стоит,
держась двумя за свою тележку, и что-то бормочет,
что-то мычит, но одно лишь слышно: — Кыё! Кыё!

Что это? причет? или проклятья?

Каждой весною
по мостовой железный грохочет гром.
— Это Кыё-Кыё, — в пустоту кивают, —
выкатил тачку свою, — и под лай собак
он возникает в серой казенной шапке,
в красных галошах собственной выклейки — вот,
вот он проходит, лязгая, громыхая,
чуждый всему и всем, и старухи вслед
крестятся скорбно как на Илью Пророка,
а мужики ворчат: — Проходи, проходи, дурак,
или в Андреево хочешь? — и, дернув тачку,
он исчезает в слепящем сумраке дня
так же внезапно, как и пришел, лишь рокот
ходит с собачьим брехом то тут, то там,
следуя по пятам...

Зачем человек явился?

Зачем как судьбу толкает два колеса,
и в праздники плачет, и лихо с улыбкой терпит,
и радуется не к месту: я видел сам,
как он с оркестром рядом шел похоронным
и, обнажая десны, беззубым ртом
весь ликовал, смеялся беззвучным смехом,
вот, мол, кыё, смотрите, кыё-кыё —
что с него взять! Пришел незнамо откуда,
и неизвестно, где сгинет.

— Не отдавай,
не отдавай меня в Андреево, — говорила
мать моя перед смертью, а у самой
были такие глаза...

Недавно случаем
я проезжал это место. Одноэтажный дом
старой постройки, без царя перестроенный,
в поле на выселках, можно сказать, барак,
но с мезонином, и на крыльце сидели
люди, все в чем-то сером, стайка людей,
не говоря меж собой, нахохлясь как птицы,
выбившиеся из сил, упав с облаков
на полевое суденышко... но не это
странным мне показалось, не дом-приют
и не его обитатели, а то, что сам я,
кажется, был там, знаю его изнутри
до половиц, до черных латунных ручек,
вскриков и запахов хлорки, урины и
сквозняков, гуляющих коридором,
хлопающих дверьми: — Проходи, проходи...

О, то не гром расходится мостовыми,
это Кыё-Кыё в небесах летит
на оглушительной тачке своей, и слабый, белый
тянется инверсионный след за ним,
медленно растекаясь и багровея
знаками тайн...

Что он хотел сказать,
думаю я, просыпаясь, и на рассвете
через полвека, путая сон и явь,
всматриваюсь и вижу стоящего человека
в мутной воде и вопрошающего опять:
что? кого? — но нет у пустоты ответа,
нет и всё! Ах ты катанье наше, мытье,
никуда от вас — Иордан, Флегетон и Лета
или Вохна у ног... не знаю... Кыё. Кыё.

* * *

Ночью проснется и в стену глядит.
Дышит — не дышит. Как мертвый лежит.

Каплет на кухне. На улице льет.
Слышит — не слышит. День-ночь напролет.

Лет перекачка. Утечка минут.
Стерлась резьба? Или нервы сдают?

Слесаря вызвать. Врача пригласить.
Кран замотать. Анальгин проглотить.

Господи, сколько же можно терпеть?!
Думать — не думать? В обои глядеть?

Сколько взбешенным скрипеть лежаком?
С кем препираться? И помнить о ком?

Кто докопается? Врубель какой?
Камень на сердце? Перо под щекой?

Жизнь ли виной? Или сам виноват?
Только глаза жутковато блестят...

* * *

Я из темной провинции странник,
из холопского званья переходжий.
И куда мне, хожалому, податься?
А куда глаза глядят, восвояси.

Я хлебнул этой жизни непутевой,
отравил душу пойлом непотребным,
и давно бы махнул на все рукою,
каб не стыд перед Материю Божией.

Вот бреду, а Она-то все видит,
спотыкаюсь, а Она-то все знает,
и веревочке куда бы ни виться,
все кабак мне выходит да кутузка.

Ах, не этой земли я окаянной,
не из этой юдоли басурманской,
а из той я стороны палестинской,
из нечаемой страны херувимской.

Я худой был на земле богомолец,
скоморошских перезвон колоколец
больше звонов я любил колокольных,
не молитвы сотворял, а погудки.

Есть на белой горе белый город,
окруженный раскаленными песками.
Есть в том городе храм золотоглавый,
а внутри прохладная пещера.

Я пойду туда, неслух, повиниться,
перед храмом в пыль-песок повалиться,
перед храмом, перед самым порогом:
не суди меня, Господь, судом строгим,

а суди, Господь, судом милосердым,
как разбойника прости и помилуй,
и порог я перейду Твою храма
и поставлю две свечи у пещеры.

* * *

Две старых сосны обнялись и скрипят,
вот-вот упадут.
И дождь их стегает, и гнет снегопад,
но жить — это труд.

Лесбийские сестры, почти без ветвей,
жилички высот.
Одна упадет и другая за ней,
но твердь не дает.

Я ночью не сплю, и они меж собой
о чем-то не спят.
Проснусь, а они уже наперебой —
ну как? — говорят.

Щади их, ненастье, храни их в жару
и стужу, Творец.
О, скоро и я напрямик разберу
их речь наконец.

* * *

А березова кукушечка зимой не куковат.
Стал я на ухо, наверно, и на память глуховат.
Ничего, oprичь молитвы, и не помню, окромя:
Мати Божия, Заступнице в скорбех, помилуй мя.

В школу шел, вальки стучали на реке, и в лад валькам
я сапожками подкованными тукал по мосткам.
Инвалид на чем-то струнном тренькал-бренькал у реки,
все хотел попасть в мелодию, да, видно, не с руки,
потому что жизнь копейка, да и та коту под зад,
потому что с самолета пересел на самокат,
молодость ли виновата, мессершмит ли, медсанбат,
а березова кукушечка зимой не куковат.

По мосткам, по белым доскам в школу шел, а рядом шла
жизнь какая-никакая, и мать-мачеха цвела,
где чинили палисадник, где копали огород,
а киномеханик Гулин на бегу решал кроссворд,
а наставник музыкальный Тадэ, слывший силачом,
нес футляр, но не с баяном, как всегда, а с кирпичом,
и отнюдь не ради тела, а живого духа для,
чтоб дрожала атмосфера в опусе «Полет шмеля».

Участь! вот она — бок о бок жить и состояться тут.
Нас потом поодиночке всех в березнячок свезут,
и кукушка прокукует и в глухой умолкнет час...
Мати Божия, Заступнице, в скорбех помилуй нас.

* * *

Актинидия коломикта так оплела
окна веранды, что и коньки лесные
кормятся с нашего, можно сказать, стола,
не вылетая из сада.

В нашем казенном саду мало что для нас,
больше для птиц и белок — орех, рябина,
разве что яблоки да лучок «вырви глаз»,
впрочем, мы не в убытке.

Сливу мы тоже делим, но без обид,
как арендаторы временного жилища,
все мы тут временны, и у кого кредит
тверже, тот и хозяин.

Слава не слива, но плакаться не резон,
если мы сами удел свой бумажный пашем,
порасскажи муравью, что счастливей слон,
он не поверит.

Все-таки, худо-бедно, пока живем
не побираясь, и будущее не мстится
ни пузырьками сидра, ни пузырем
чистого самогона.

Нет у нас ни столового серебра,
ни фолиантов редких, но чем не роскошь
кодекс здоровья салернский читать с утра,
на ночь Апостол.

Нет серебра, но глина у нас поет:
дымковские свистульки свистят, и вторят
дудки из Городца — весь гончарный скот,
обжигом прокаленный.

Это с поры, когда покати шаром
в каждой торговой точке, а мы с кошелкой
по барахолкам рыщем — старье берем —
дуйте, ребята, звонче!

Красную осень ставит на всем печать,
и на крыло пернатый народ ложится
рейсом экономическим летовать
в теплые Палестины.

Перья почистить надо и нам чуток,
дверь укрепить и вставить вторые рамы,
сестрам-синицам сбить под окном чертог,
вместе и зазимуем.

Самое время бронхи свои продуть,
легкие продышать и прочистить горло
меликой и вокабулами — и в путь
мысленный за химерой.

Чаю заварим с мятой, накроем стол,
яблочный пай нарежем, тетрадь раскроем.
Может, хвала Алкею, и наш глагол
Небу угоден будет.

* * *

Вечный запах стираного белья,
это сохнет бедная плоть твоя,
пропитавшая потом уток с основой,
выжми эту жилу, конца ей нет,
разверни края и начни по новой.

Выжми эту жилу, проверь на свет,
где не бош, а босх развернул сюжет
и распял его на кривой веревке
для слепых, ковыряющих пальцем ноль,
как саму материю тратит моль
вроде звездной татуировки.

А кто видит мир без червивых дыр,
а пылающим куполом как потир,
световую сам становясь мембраной,
понимает, что я хочу сказать,
перематывая из холстинки прядь
золотую на безымянный...

десять отражений

Александр КУШНЕР

ЛГ, 1997

Книга Олега Чухонцева «Пробегающий пейзаж» — избранное поэта, пришедшего в литературу в конце 50-х — начале 60-х годов. В литературу-то он пришел и кое-какие стихи опубликовал, но в 1967 году за стихотворение о князе Курбском («Только вздрогнул — взмахнула дурная ворона / опаленным крылом, и указывал взмах — / уповать на чужбину, читать Цицерона, / чтить опальных друзей и развеяться в прах») был на долгие годы лишен возможности печатать стихи и выпускать книги.

Судьба подталкивала его сделать тот же выбор — «уповать на чужбину, читать Цицерона». Тем не менее представить себе Олега Чухонцева уехавшим из страны, живущим в эмиграции абсолютно невозможно. Речь идет не о том, хорошо это или плохо, оценочные категории здесь не работают. Речь идет о том, что настоящий поэт редко ошибается в своем выборе и выбор этот диктуется ему его музой, голос которой он слышит сквозь все помехи и все мнения и пере суды своего человеческого окружения.

... Живя в Москве, поэт остается провинциалом, и признаюсь, мне дорога и понятна эта его позиция — ведь и Ленинград-Петербург тоже провинция, оту-

чающая от поэтических льгот и выгод, приучающая к одиночеству и самостоятельности поэтического мышления. Есть что-то закономерное в том, что книга вышла в петербургском издательстве ИНА-ПРЕСС.

...Писать о книге избранного трудно... Я прочел ее дважды: вразброс и потом подряд, всю, от начала до конца, отмечая все переключки, а это не только Некрасов, но и Пушкин, конечно, и Фет, и Пастернак, и Кузмин, и Ходасевич, и некоторые поэты-современники, а иначе ничего и не бывает: свой голос, а я берусь отличить и узнать голос Чухонцева в любой разноголосице, возникает только там, где существует опора на предшественников (и некоторых современников).

...Вообще хочу отметить, что дар Чухонцева с возрастом не тускнеет, он вообще поэт меняющийся и хотя пишет немного, зато с неизменным приращением интонационной, эмоциональной и интеллектуальной мощи.

Александр ГАЛИЧ

Посев, 1974

Лично я больше всего люблю и считаю чрезвычайно талантливым Олега Чухонцева. По-моему, это звезда первой величины... Сейчас я очень мало могу назвать имен. Среди них, пожалуй, первый — по дарованию, по необыкновенной пронзительной точности языка — Олег Чухонцев.

Наум КОРЖАВИН

Континент, 1978

29 сентября 1976 года в Москве произошло событие, имеющее, как я убежден, большое значение для нашей литературы — в издательстве «Советский

писатель» был подписан к печати сборник стихов Олега Чухонцева «Из трех тетрадей».

Можно сказать: наконец был подписан, ибо у этой книги долгая и странная история. Следы ее есть даже в аннотации издательства, где говорится, что поэт впервые опубликовался в 1958 году. Это значит, что первая книга вышла только через восемнадцать лет после первой публикации. Иными словами, человек, родившийся в день первой публикации Чухонцева, мог за это время и сам несколько раз опубликоваться. Кроме того, из нее же видно (сказано, что Чухонцев родился в 1938 году), что в день выхода первой книги поэту было столько же лет, сколько Пушкину в день смерти.

...Быть современным — это вовсе не цель или задача искусства, но, не будучи современным, оно становится никаким, теряет выход к вечности.

Между тем, ощущение вечности никогда не покидает Чухонцева, о чем бы он ни писал. Эту связь с вечностью в наши времена на всех широтах надо отстаивать всеми способами — в том числе и прямо. Особенно остро это проявляется, естественно, в тех стихах, которые посвящены искусству и творчеству. Лучшее из них — «Баллада о реставраторе». Главное в нем тоже не психологическая подоплека, а духовные основания, на которых стоит искусство, выход к откровению... «Зло крыто охрою. История в крови. / Но ангел падший домогается любви. / И снег все пристальней, но как бы ни мело, / утишим зло — у нас такое ремесло. / Проверим заново — ты кисть, а я — перо. / Что нам в укор? Добро не может быть старо. / И кто-то в будущем таким же декабрем, / быть может, вспомнит нас — с печалью и добром».

...Мне кажется, что в этих словах — главная потребность времени... В них то, что умудренная страшным опытом Россия должна нести миру. Такие «простые» слова под силу далеко не всякому.

Наталья ИВАНОВА

Любой нажим, любая подчеркнутость, любой «курсив» для него прежде всего безвкусны — и потому неприемлемы. Принимающий, вбирающий в стихи широту и открытость пейзажа, свободу ветра и снега, поэт раздражает-

ся от неаккуратности, от неточности, от невыполненности, от суеты; раздражается и бежит от помойки слов, сплетен, слухов, скандалов и сенсаций.

Однако этот подчеркнуто-сдержанный европеец отнюдь не отрекается от своей провинциальности — напротив, постоянно подпитывает ею свою лирику.

Многие его стихи и вызваны к жизни теми, кого он называет «своими». К жизни — вызваны — вызволены: из владений смерти, почти буквально («И дверь впотьмах нечаянно толкнул...»).

В нашем отечестве, где живет много прелестных, умных, замечательных, талантливых, но совершенно безответственных людей, называющих себя интеллигентами, Чухонцев — апологет ответственности. Он отвечает за историю; она происходит в нем; говорит от лица Курбского и размышляет за Ивана Грозного или Иосифа Сталина. Он отвечает за безвременье, за немоту, за страх и мучительную раздвоенность сознания.

В торжествующем китче и эклектике, в славословящем самого себя нуворишестве Чухонцева, как, впрочем, и всегда, выделяет высота поставленных вопросов. Сегодня все чуть ли не поголовно вдруг предъявили свидетельство о религиозности, — поэзию Чухонцева всегда отличала не надрывная, не показная, а истинная духовность. Чухонцев — поэт вне моды. Как поэт истинный он, конечно, прагматически «не нужен», «не востребован» и потому во время «перестройки», как, впрочем, и до нее, оставался не известным широкому читателю. Однако как поэт истинный он, конечно, необходим — не скажу «всем», а скажу — «всему». Потому что его голосом говорит самостоянье и достоинство человека, который выше любых временных, «племенных» и поколенческих рамок.

Он и сегодня, в тот момент, когда образуются все новые объединения и группы, стоит по-прежнему в стороне от них. Он — сам по себе, корпоративность ему чужда в принципе, она противоречит его чувству пути, самостоянью поэта.

Игорь ШАЙТАНОВ

Доверие к своему стиху и желание вчитаться в него Чухонцев вызывает слышимыми достоинствами. Раскованно дыхание в стихе, который не только приближен к речи, но и не перестает быть речью, поддерживает иллюзию разговорной непосредственности. Не счет слогов, а ритм фразы ведет интонацию. Поэт действительно говорит, не смущаясь оговоркой, начиная и обрывая речь там, где сочтет нужным, даже на полуфразе, полуслове. Ценил обыденную жизненность материала и слова, современная поэзия постоянно опускается к прозе бытия. Не у всех хватает сил, чтобы подняться обратно — к поэзии. Чухонцев умеет говорить об обыденном просто и высоко. Он даже как-то незаметно преодолевает эту трудную дистанцию: без усилия, зачастую даже не подстраховываясь иронией, спасительной в случае неудачи... Он просто видит поэзию в том, в чем видит, и умеет убедить в ней читателя.

Чухонцев любит рассказывать в стихе, обдумывать, сомневаться, но понять в нем главное значит осознать, что он — лирик, один из самых значительных лирических поэтов рубежа веков, отстоявший ее достоинство в тот момент, когда лирика вышла из моды. В предшествующие десятилетия ее писали, оставляя ощущение переизбытка, разменянной эмоции. И тогда, когда ее писали сверх меры, и тогда, когда ее застыдились писать, Чухонцев оставался верен лирике и классически строг по отношению к самому себе. Его эмоциональный жест всегда собран, точен и чреват взрывной силой. Он музыкально подчиняет себе, чтобы не убаюкать, а поразить красотой и чем-то иным в ней сквозящим.

Александр ЧУДАКОВ

...Он ввел мандельштамовскую сложность стиховой ткани в стихи на есенинско-народную тематику.

Ирина РОДНЯНСКАЯ

Главное (и труднопоказуемое) в нем — реющий надо всей узнаваемой предметностью нашей жизни звук, из будущего, что ли, нерасшифрованный, неизъясненный; какой-то дальний раскат небесного грома или подземного гула, гомон перемен за чертой кругозора или, быть может, шум, с каким на исходе истории распахиваются ворота в вечность. Зрение, память зрения, память пространств и объемов, обликов и очертаний действует у него как бы сама собой, без натуги приближая его стихи к конкретности натуральной прозы и точности справочного издания. А слух — слух напряжен, усиленно настроен, трепетен... В преддверии времен «после лирики, после эпоса», Чухонцев явил в горстке страниц некий лироэпос густейшей концентрации; здесь есть всё: мысль, объемлющая эпоху, мир; судьба человеческая; отчизна, соседи, родимый погост; ожесточение и молитва; подвижная грань между этим и тем бытием («как жизнь промелькнула, и смерть пролетит»).

Станислав РАССАДИН

Голос из арьергарда. М.: Время, 2007

Теперь, когда легенда о необыкновенно талантливом и едва ли не подпольном поэте превратилась в прочную и, так сказать, легендарную известность, когда он стал автором капитального «избранного» (первая-то книга насилу вышла, когда Чухонцеву вот-вот должно было стукнуть сорок, и, красноречиво озаглавленная «Из трех тетрадей», была к тому же варварски оскоплена), явственно и последовательно подтвердилась одна из его странностей. Не каприз, не причуда, а именно последовательная, постоянная, все более укоренявшаяся странность: почтение, да, пожалуй, и зависть к безумию.

...Да, Чухонцев — один из самых внутренне, изнутри логичных поэтов, из «смысловиков». И если он вправду «другой», «инакий», вплоть до тяготения к юродивости, то как отделить выбор, делаемый не без участия разума, от веления «музы», которая лишает поэта если не разума, то уж рассудочности — точно?..

...Он повзрослел опасно рано; был непривычно, странно зрелым и для своего возраста, немногим более чем двадцатилетнего, и даже для инфантильного рубежа пятидеся-

тых-шестидесятых (его стихи того времени, оказавшись в «избранном», не требуют снисхождения к младости сочинителя, и когда в 1962-м писал предисловие к одной из самых первых подборок его стихов, то не нашел названия более подходящего, чем «Достоинство обдуманых речей» — вариант строки из стихотворения Баратынского «Муза»).

...Поэт рождается на свет «другим», иначе он не поэт, а потом весь свой век старательно изживает этот, как ему кажется, первородный грех элитарной избранности; конечно, это не непрменный закон любой, всякой поэзии, но в России традиционно приоритетен. Что и дало русской поэзии такую власть над сердцами.

...Однако если «быть, как все» Пастернаку казалось счастьем, то для Чухонцева его многоликое двойничество едва ли не со «всеми», то есть тоже попытка изжить собственную «инакость», мучительно («Как непосильно быть самим собой»). За нежеланную, изживаемую — но так, разумеется, и не изжитую, ибо невозможное невозможно — участь «другого» приходится платить дорого.

Максим АМЕЛИН

НГ EX LIBRIS, 2004

Он и прежде принадлежал к числу поэтов малопишущих (Тютчев, Мандельштам, Ходасевич), для которых молчание — естественное состояние, стихотворение же — акт обдуманный и вынужденный, предпочитая сочинение отдельных, концентрированных и многослойных вещей бесконечному тиражированию однажды найденного и опробованного.

Средневековые японские поэты, бывшие и буддийскими монахами, после достижения очередной степени просветления меняли имя и отказывались от прежних установок для того, чтобы начать построение новой, более совершенной, личности и поэтики... Так было на Востоке; в отечественной же духовной традиции не менее важен опыт молчаливого подвижничества, правда, не предполагавший стихосложения и переименования. Тем не менее Чухонцев — продолжатель «умного делания» древнерусских исихастов. Молчаливый период у него совпал со временем крушения имперских глыб и смещения тектонических пластов культуры, отголоски которых слышны в звуковой

структуре чухонцевского стиха, а отход от «немотствующей речи» начался с новым безвременьем.

...Новый способ говорения Чухонцева заставляет вспомнить иной тип православной аскезы — «умудренное юродство», причем именно в русском, «неправильном», изводе, без «ругания миру».

...«Фифиа» на суахили, коренном языке жителей Танзании и Кении, — глагол со значениями: исчезать, растворяться, затихать (о звуке), ослабевать, увядать (так толкует суахили-английский словарь). В книге есть и «покаянные» стихи — вариант народного трехударного тонического стиха, олитературенного еще Сумароковым в «Хорах ко превратному свету», тяготеющий к силлабическому одиннадцатисложнику: «Я худой был на земле богомолец, / скоморошьях перезвон колоколец / больше звонов я любил колокольных, / не молитвы сотворял, а погудки». (Кстати, Мандельштам, по воспоминаниям Надежды Яковлевны, погудкой называл самый первый порыв к сложению стихотворения, услышанный поэтом гул языка.)

Артём СКВОРЦОВ

Энергия самовозрастания. М: Знамя, 2006

Удивительно, скольких идейных и артистических соблазнов Чухонцев избежал на своем пути. Не стал вечным шестидесятником, отстранился от эстрадной эйфории Лужников, не ударился в высокомерную религиозность, остался равнодушен к искусственной усложненности и темноте самого разного толка — от мнимо «метафизической» поэзии до «метаметафорической», не примкнул к надрывному хору квасных патриотов, абстрагировался от прямолинейного следования акмеизму, со спокойным вниманием и на отдалении наблюдал за расцветом авангарда, не впал в изнурительный карнавал игры... А если вспомнить о равнодушии к публичному успеху, подтверждаемом хотя бы тем, что до начала третьего тысячелетия он двадцать лет не выступал с чтением своих стихов, то с высокой степенью достоверности вырисовывается портрет скептика, исихаста и анахорета.

Реальность же, как всегда, интереснее и куда сложнее.

Трудно найти в русской поэзии, особенно XX столетия, такие стилистические краски или приемы, которые не были бы замечены и применены Чухонцевым в поэтическом

деле, — с чувством их уместности в конкретном тексте. Он не присягал на верность никакой готовой эстетике, но ничего и не игнорировал: все живое и более или менее достойное замечалось им и естественно адаптировалось к собственному письму. Сохраняя уникальный голос, Чухонцев переплавил в личном поэтическом тигле множество разнородных и характерных для современной поэзии примет: интерес к необработанной, бытовой речи и тягу к бесконечно ветвящемуся синтаксису, опыты моностиха и примеры гигантских повествовательных структур, полицитатность, пересыпанную каламбурами и палиндромами, и воздушную легкость верлибра, реабилитацию заезженных размеров и сложную строфику...

Самобытная поэтика Чухонцева изначально обладала особенностями, впоследствии отозвавшимися в стихах многих представителей новых поколений. Здесь и тонкая работа с идиоматикой и фразеологизмами, и дозированное употребление диалектных и разговорных раритетов, и общая установка на внешнюю прозаизацию стиха.

Вместе с тем у Чухонцева, похоже, нет шлейфа подражателей, что тянется почти за каждым оригинальным поэтом. И понятно почему: не ухватишь утрированно характерные, навязчивые особенности стиля, которые можно бесцеремонно и простодушно растащить на клише.

Книги Олега ЧУХОНЦЕВА

Из трех тетрадей. М.: СП, 1976

Слуховое окно. М.: СП, 1983

Ветром и пеплом. М.: Современник, 1989

Стихотворения. М.: Худ. лит, 1989

Пробегающий пейзаж. СПб.: ИНА ПРЕСС, 1997

Фифиа. СПб.: Пушкинский фонд, 2003

Из сих пределов. М.: ОГИ, 2005

**П о п е ч и т е л ь с к и й с о в е т
о б щ е с т в а п о о щ р е н и я р у с с к о й п о э з и и**

**Ж ю р и Р о с с и й с к о й
н а ц и о н а л ь н о й п р е м и и « П о э т »**

- *Дмитрий Петрович Бак* — критик, кандидат филологических наук, профессор РГГУ;
- *Николай Алексеевич Богомолов* — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературной критики МГУ;
- *Яков Аркадьевич Гордин* — писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» (Санкт-Петербург);
- *Александр Семенович Кушнер* — первый лауреат премии «Поэт» 2005, председатель жюри 2006;
- *Александр Васильевич Лавров* — доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН (Санкт-Петербург);
- *Самуил Аронович Лурье* — писатель, критик (Санкт-Петербург);
- *Андрей Семенович Немзер* — критик, кандидат филологических наук, профессор, обозреватель газеты «Время новостей»;
- *Олеся Александровна Николаева* — лауреат национальной премии «Поэт» 2006; председатель жюри 2007 года;
- *Владимир Иванович Новиков* — критик, писатель, доктор филологических наук, профессор МГУ;
- *Ирина Бенционовна Роднянская* — критик, член редколлегии журнала «Новый мир»;
- *Сергей Иванович Чупринин* — доктор филологических наук, профессор, главный редактор журнала «Знамя».